

*С. И. Кочкуркина*

## **ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ**

*О понятиях «этнос», «этничность», «культура»  
в гуманитарных исследованиях*

**К**ритическое отношение к попыткам определения национальности, этничности высказывалось еще в революционные годы. П. А. Сорокин отрицал расовую или биологическую точку зрения на этническое начало: «Достаточно сказать, что теория чистых рас оказалась мифом; их нет, как нет, например, и специально немецкой или английской крови». Возражал он и против определения народов через язык, национальные интересы. «Ни одна из теорий, – пишет П. А. Сорокин, – не знает, что такое национальность» (1992, с. 248). В 1919 г. российский исследователь Б. Плетнев отмечал, что нельзя установить точных объективных признаков, отличающих одну национальность от другой. В то же время С. М. Широкогоров довольно четко сформулировал понятие этноса: «Этнос – есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых освященных традиций и отличающих ее от таковых других групп» (цит. по: Кокшаров, 2002).

Современным антропологическим исследованиям этничности на Западе положил начало Ф. Барт (Barth, 1969) работой с выразительным названием «Этнические группы и границы». До него, как установил Л. Деспрес (L. Despres) (цит. по: Olsen, Kobylinski, 1991, p. 5), просмотревший 13 книжных текстов по антропологии 1916–1971 гг., в научной литературе термины «этнос», «этническая группа» или «этничность» полностью отсутствовали. Другой исследователь только в 13 из 65 антропологических и социологических исследований

обнаружил четкое определение этничности (Emberling, 1997, p. 300). Основные положения концепции Барта и его коллег можно выразить следующими тремя пунктами:

1. Непременным условием определения этнической группы является деление на «мы» и «они» – тезис, с которым и сегодня согласны все исследователи.

2. Природа целостности этнической группы – это динамичность. Она прямо зависит от границ, отделяющих своих членов общества от посторонних, но не зависит ни от стабильности культурной массы, ни от стабильности культурных черт, которые обозначают границы.

3. Этническая группа – это не конкретный феномен или объективная категория, а идеалистическая сфера социального сознания, т. е. субъективное самоопределение человеческих индивидов (Barth, 1969, p. 14).

В парадигме Барта этничность – это средство достижения экономических и политических результатов, инструмент в конкуренции между группами над ограниченными ресурсами. Им рассмотрены четыре вида ситуаций эколого-экономического характера, в зависимости от которых вырабатывается та или иная стратегия поведения этнических групп.

1. Ситуации, когда этнические группы оккупируют отдельные ниши в естественной окружающей среде при минимальной конкуренции над ресурсами. В этом случае их взаимосвязь могла быть ограниченной, несмотря на совместное проживание в ареале, и взаимоотношения могли быть направлены главным образом через торговлю.

2. Ситуации, при которых этнические группы монополизировали отдельные территории, и по этой причине группы конкурируют за ресурсы, их взаимоотношения вовлекаются в политику вдоль границ и, возможно, в других секторах.

3. Группы занимают различные ниши (или создают различные виды продукции), но в итоге обслуживают друг друга и взаимозависимы. Это влечет за собой классический симбиоз и множество возможных путей для контактов.

4. Ситуация, при которой две или более групп конкурируют в одной и той же нише. При таком раскладе либо одна группа может заменить другую, либо они совместно развиваются, взаимно дополняя друг друга.

Барт активно возражал, и вполне справедливо, против предрасудка об «объективности» и неизменяемости набора культурных черт, существующего независимо от социокультурного контекста. Этот утилитарный взгляд на этничность позднее поддержали и развили многие антропологи и такие археологи, как И. Ходдер, К. Однер, Б. Ульсен, П. Долуханов. По И. Ходдеру, этнические группы – это группы по интересам, которые оппозиционны и конкурентны по отношению к другим группам (Olsen, Kobyliński, 1991, p. 17–18). Такой подход к этническим группам как к организациям, призванным защищать интересы своих членов, в определенной степени научно аргументирован и подтверждается археологическими материалами, но несколько ограничен и не раскрывает сути этнических проблем в полном объеме.

Приоритет развития теории и методологии в 1960–1980-х гг. принадлежал США. Новые достижения в области археологии стали рассматриваться, как правило, в контексте антропологии – науки о культурной и биологической эволюции человека. Это связано, как считают, с существенной разницей между археологическими традициями Старого и Нового Света. Археология Старого Света уже к началу XX в. стала самостоятельной научной дисциплиной, развивающейся в тесной связи с историей и геологией. Европейские археологи имели дело с культурами своих предков и предшественников, занимаясь реконструкцией древних культур. Американские археологи исследовали культуры индейцев, которые они могли подчас наблюдать в реальной жизни, поэтому археология Нового Света развивалась в антропологическом направлении. Такой подход получил название «новой археологии». Одним из ее создателей в 1960-е гг. стал Л. Р. Бинфорд. Смысл «новой археологии» сводился к тому, что археологам не следует ограничиваться описанием и руководствоваться интуицией при реконструкции прошлого, они должны направить свои усилия на построение и испытание теорий, и проверку конкретных гипотез, объясняющих

развитие культурных процессов. Непосредственно по археологическим источникам невозможно изучать историко-культурные процессы. Сначала необходимо, считали представители «новой археологии», разработать методику увязки археологических фактов с событиями древностей, а для этого нужно понять процесс формирования археологического источника. В современной западной науке археология больше связана не с историей, а с антропологией, комплексом наук о человеке, что сближает археологию с естественными и точными науками (Добролюбская, 2003). Естественно, что концепция «этничности» этой школой была признана неудачной и раскритикована.

Здесь нет смысла останавливаться на многолетних теоретических спорах в рамках «новой» или «системно-процессуальной», а также «постпроцессуальной» археологии. На эту тему написано немало обзорных очерков разной степени теоретической глубины, поскольку многие исследователи считали своим профессиональным долгом высказать суждения относительно модных течений в мировой археологии. Расцвет этой школы уже пройден. «Новую» археологию уже называют «умирающей», «деструктивной» (Tilley, 1991), «фрагментарной» (Olsen, 1991). Не осталось в стороне от международных теоретических дискуссий и молодое поколение финляндских исследователей, связывавших большие ожидания с созданием для археологии общей теории, методов и понятий, с тем чтобы выявить существующие недостатки в науке и найти приемлемые способы их исправления (A. Aikio, V. P. Herva, M. Lavento, E. Muurimäki, O. Räihälä, T. Suhonen и др. Опубликованы в нескольких выпусках издания *Muinaistutkija*).

Одним из лучших обзоров теорий, касающихся этноса и его отношения к археологии, считается работа Ш. Джоунс (Jones, 1997). Она выделяет три основных понятия этноса: «этничность», «этническое самоопределение» (самосознание) и «этническая группа». Этничность определяется как «все социальные и психологические явления, связанные с культурными особенностями группы», этническое самоопределение – как «аспект самоопределения личности, который обусловлен представлением о причастности к группе, отличающейся от других групп по своим культурным

чертам и/или происхождению». Этническая группа характеризуется как «любая группа людей, которые выделяют себя и/или отделяют от прочих (групп), с которыми они взаимодействуют или сосуществуют, на основе восприятия культурных различий и/или общего происхождения». В работе критикуются две основных теоретических парадигмы этноса – эволюционная (primordial) и ситуационная (instrumental). Исследовательница предлагает альтернативный подход, сочетающий черты обоих направлений в «теории практики» («practice theory»).

Заметим, к слову, что огромное количество работ при существенном расхождении понимания природы этноса довольно трудно уместить в предлагаемую жесткую прямолинейную классификацию, не все концепции поддаются такому членению. Ряд авторов отмечал, что примордиалистское и инструменталистское направления дополняют друг друга в изучении различных аспектов этноса, и спор между ними бесплоден.

Социобиологическое понимание этноса в рамках примордиалистского направления представлено в работах Л. Н. Гумилева, считавшего этногенез природным процессом, не связанным ни с культурой и бытом народа, ни с их расовым составом, ни с условиями экономики и техники. Являясь природным процессом биосферы и одним из компонентов этнической истории, этногенез действует наряду с тремя постоянными факторами: социальным, техническим и географическим, динамика этногенеза обеспечивается четвертым фактором – пассионарным толчком (Гумилев, 1979, вып. 2, с. 201).

Основная критика примордиализма (Джоунс приводит четыре пункта критики) в изучении происхождения этносов заключается в том, что он представляет очень статичную и натуралистическую точку зрения. Культурный процесс и другие социальные факторы, которые формируют этнические общности или управляют ими, в расчет не принимаются. Ею же отмечено, что примордиалистский подход к этносу пытается объяснить психологические аспекты этничности и возможности конкретных символов.

Напротив, сторонники инструменталистского (ситуационного) подхода считают, что формирование этноса находится в тесной

зависимости от конкретных природных и историко-культурных явлений. «Этнос социально обусловлен, и люди в состоянии выбрать и смешать (разные элементы) из многообразия этнических наследий и культур, чтобы сформировать свое собственное индивидуальное и групповое самоопределение» (Baumann, 2004, p. 12–14). Джоунс полагает, что инструменталисты разделяются на тех, кто сосредоточен на социоструктурном и культурном аспектах этноса и придерживаются более объективной позиции, и тех, кто фокусирует внимание на межличностных и поведенческих аспектах этноса и занимает более субъективную позицию.

Истоки инструменталистского направления связаны с работами Ф. Барта (Barth, 1969) и А. Коэна (Cohen, 1974). Барт рассматривал этническое самоопределение как «индивидуалистическую стратегию», в которой личности переходят от одного самосознания к другому с целью «реализовать свои экономические и политические интересы или минимизировать свои потери» (Jones, 1997, p. 74). По Барту, этническая общность формируется в результате установления границ и взаимодействия ее членов. Взаимодействие между людьми не приводит к ассимиляции или однородности культуры. Культурные особенности и даже личности могут пересекать этнические границы, которые в свою очередь со временем могут трансформировать этническую группу.

В отличие от Барта, Коэн «делает акцент на этнической группе как коллективной стратегии для защиты экономических и политических интересов» (Jones, 1997, p. 74). Джоунс считает, что и Барт и Коэн «фокусируются на организующих особенностях этноса и этнос рассматривается как институт, формирующий общие поверья и виды деятельности, которые обеспечивают группе защиту границ и организационные меры, необходимые для их защиты, равно как и борьбу за социоэкономические ресурсы» (ею сформулированы пять основных пунктов критики инструменталистской теории). Тем не менее инструменталистские подходы внесли вклад в изучение этнических групп, обратив внимание на такие аспекты, которые примордиалистами игнорировались.

Основываясь на критике примордиалистской и инструменталистской теорий, Джоунс (Jones, 1977, p. 87–92) доказывает, что

нужна новая теория, чтобы закрыть пробел между этносом и культурой. Она полагает, что истинного понимания этноса можно достигнуть через «практическую теорию», которая пытается рассматривать «взаимоотношение между объективными условиями и субъективным восприятием». Этнос, по мнению Джоунс (Jones, 1977, p. 100), «представляет собой многомерное явление, формирующееся различными способами и в разных сферах общества. Редко встречается полное совпадение границ этноса и спектра видов культурной деятельности и социальных условий, ассоциируемых с конкретной группой. С высоты птичьего полета общая картина будет выглядеть как перекрывание этнических границ культурными различиями, которые непостоянны, но также подвержены воспроизводству и преобразованиям в ходе социальных процессов».

В советскую эпоху наиболее полное выражение теория этноса нашла в трудах Ю. В. Бромлей. Им было введено понятие «этнос» (1984, с. 15–16) вместо использовавшихся до него категорий «племя», «народ», «нация». Бромлей сделал акцент на таких чертах этноса, как язык, материальная культура, религия, народное искусство, костюмы, ритуальные поведенческие модели и т. д., но подчеркнул, что ни одна из этих черт не должна рассматриваться как существенный этнодифференцирующий признак. Совокупность свойств, обладающих особой устойчивостью, и представляет, на взгляд Бромлей, неотъемлемое ядро этнической общности – этнос в узком смысле слова, а те свойства, которые этнос утрачивает, следует считать необязательными; они представляют как бы внешнюю оболочку этноса.

И сейчас, когда библиография, посвященная проблемам этничности, на английском, немецком и русском языках огромна (список трудов см. : Кокшаров, 2002), нет единства в определении этничности, этноса, нации. Исследователи подчеркивают реальное многообразие становления этносов и наций, различные пути их формирования. «Одни из них складывались как политические, другие – как культурные сообщества. Одни формировались в относительной изоляции, другие – в постоянном взаимодействии с другими народами. Есть нации (этноты), история которых проходила

в рамках ограниченного пространства, и нации, переселявшиеся многократно, распространившиеся по территории всей земли...» (Здравосмыслов, 1998, с. 18).

Понятия не поддаются четкому определению отчасти потому, что в этих категориях заключено столько разнообразных признаков, что учесть их все крайне трудно. Поэтому существующие теории оказываются неспособными выявить этническую сущность. Согласно С. В. Чешко (1994, с. 39–40), этничность имеет иррациональную природу, поэтому определить ее в точных терминах не представляется возможным. Это что-то мистическое, что-то вроде «души народа» (Кокшаров, 2002, с. 5).

Действительно, этнос определить формально трудно, хотя каждый исследователь понимает, о чем идет речь. Видимо, не все явления, в том числе и этнос, этничность, подлежат теоретически точному определению, как, например, и основное понятие в механике «материальная точка», хотя через него формулируются другие понятия.

Учитывая всю сложность и многообразие мнений об этносе, этничности и отсутствие какой-то единой общепризнанной точки зрения, меня, как археолога, изучающего этнокультурную историю народов Карелии, занимает проблема корреляции духовного и материального, этноса и материальной культуры. Можно ли и какими средствами опознать этносы в материальной культуре, идентифицировать археологические культуры и народы?

### *Этнос и археология*

В отечественной археологии вопросы реконструкции этнических процессов по материалам археологии и смежных дисциплин, особенно в области изучения славянских, финно-угорских, и в частности прибалтийско-финских, народов были всегда актуальными (Л. А. Голубева, Е. И. Горюнова, В. В. Пименов, В. В. Седов, А. П. Смирнов, А. Х. Халиков и мн. др.). Обнаруженные в процессе исследований однотипные археологические объекты с присущими им некоторыми особенностями домостроительства, одежды, утвари, орнамента, деталей погребального обряда и т. д. и корреляция их с данными языкознания, топонимики, антропологии, этно-

логии и фольклора давали основание считать эти объекты, принадлежащими известному по письменным источникам этносу.

Вместе с тем некоторые критически настроенные археологи относились и относятся к этой стороне археологических исследований весьма настороженно, ссылаясь, и вполне справедливо, на ограниченность археологических источников при попытках воссоздания этноисторических систем (или конструкций). Сумма устойчивых и специфических свойств того или иного народа – язык, самосознание, физический облик, особенности духовной культуры – археологическими источниками не улавливается, за исключением некоторых остатков материальной культуры, которые к тому же представляют собой трансформированные следы человеческого поведения.

В 20-х гг. XX в. одним из первых, кто попытался установить связь между языком, материальной культурой и народом, и определить территорию германских племен по археологическим материалам, был немецкий исследователь Г. Коссинна. Ассоциировавшиеся поначалу с его именем национализм и расизм позднее были забыты, но главный его тезис – связь археологических культур и народов – использовался в Европе длительное время и до сих пор играет большую роль в исследованиях, осуществляющихся во многих частях мира. Попытки обнаружить следы современных или исторически известных этнических групп в археологических материалах базировались на вере, что они содержат прочный и объективный набор культурных черт, характеризующий известные этнические группы. Следовательно, внезапное появление или исчезновение отчетливой материальной культуры должно быть объяснено миграцией, колонизацией, завоеваниями или ассимиляцией (Olsen, Kobyliński, 1991, p. 9).

В первой половине XX в. В.-Г. Чайлд был одним из тех, кто пытался обобщить данные археологии Старого Света. Он критически относился к прежним интуитивным подходам в изучении и толковании исторических фактов. По его представлению, географические и природные условия являются важнейшими факторами формирования исторических процессов, поэтому в материалистической концепции Карла Маркса он видел продуктивные пути объяснения этих процессов. В то время как археологи занимались

описанием отдельных памятников и артефактов, Чайлд создавал свою комплексную антропологическую концепцию, которая оказала и до сих пор оказывает существенное влияние на современных археологов и антропологов (Добролюбская, 2003). В работе 1925 г. он впервые концептуально изучил предысторию Европы как мозаичное перемещение археологических культур, идентифицируемых с народами, вернее, как серию стадий культурной эволюции или диффузию технологий из Среднего Востока. Хотя в этом труде он стремился определить оригинальный дом индоевропейцев, достичь этой окончательной цели он не смог. Чайлд провозгласил, что принципиальная цель доисторической археологии – идентифицировать индивидуальные народы или культурные группы и проследить их дифференциацию, передвижения и взаимодействия. Он четко отметил, как движение безымянных народов отражается в археологических объектах, и положил начало публичному обсуждению вопроса об изучении этноса на археологическом материале, и с тех пор так или иначе этничность является понятием при изучении истории. Б. Триггер отметил, что позднее Чайлд засомневался в полезности археологии для политической истории, в которой, по его мнению, культуры замещали государственного деятеля и миграционные батальи (Trigger, 1994).

Из концепции Барта становится очевидным, что он полностью отказался от археологических характеристик при определении этнических групп. Л. Н. Гумилев (1979, вып. 1, с. 55–61) отрицает все признаки этноса: язык, происхождение, обычаи, материальную культуру, идеологию. Единственным определяющим признаком этноса является противопоставление своего коллектива остальным. Это противопоставление «мы – они» и лежит, по мнению Гумилева, в основе диагностики этносов. Что касается археологии, то, как он пишет «мы иногда встречаемся со слепой верой в могущество археологических раскопок, основанной на действительно удачных раскопках в Египте, Вавилонии и даже в горном Алтае... Но ведь это исключение, а по большей части археолог должен довольствоваться черепками, поднятыми из сухой пыли раскаленных степей, обломками костей в разграбленных могилах и остатками стен высотой в один отпечаток кирпича» (Гумилев, 1979, вып. 1,

с. 54); «...культуры, созданные этносом и изучаемые археологами, переживают первых и вводят в заблуждение вторых, заставляя их отождествлять творение с творцом и искать аналогии между вещами и людьми» (вып. 2, с. 188).

Негативную точку зрения на артефакты как плохие индикаторы этничности, когда они рассматриваются индивидуально, поддерживали и развили многие исследователи в рамках процессуальной и постпроцессуальной археологии. Была раскритикована интуитивная, произвольная и искусственная природа археологической классификации (Renfrew, Hodder, Shennan и др.). Археологические данные не являются беспристрастными зеркалами объективного мира, «наша стратегия должна быть стратегией полемики и неудовлетворения, вызовом ортодоксии, работы с неизвестным» (Shanks and Tilley, 1987, 1994). Минимизировать влияние идеологии – вот задача современных исследователей.

Несмотря на то что антропологические концепции этничности отрицательно относились к возможностям археологии при реконструкции этнических процессов, вера в ее потенциальные возможности не угасала.

Джоунс в соответствии с отстаиваемой ею практической теорией этноса согласна с тем, что соотношение между многомерной природой этноса и материальной культурой представляется неуловимым и скоротечным, что составляет для археологов определенные трудности. Мнение о том, что интенсивность этнического самосознания и различий в материальной культуре, а также четкость этнических границ может возрастать в периоды экономических и политических кризисов, а также войн, находит подтверждение в древней истории карел. В XII–XV вв., в период бесконечных военных столкновений с иноземцами, в древнекарельской материальной культуре наиболее отчетливо прослеживаются самобытные черты, отличающие их от соседних прибалтийско-финских народов. Джоунс считает, что для широкого понимания культурных контекстов прошлого анализ этноса в археологии необходим, а исторический подход к зарождению и проявлению этничности является ключевым (Jones, 1997, p. 126).

Как считают соавторы норвежско-польского обзора этничности в антропологических и археологических исследованиях, несмотря на все высказанные ограничения для археологов, центр изучения этничности в археологии должен быть перенесен на изучение феномена этничности. Этническая идентичность, субъективная и динамическая, необязательно имеет отношение к общему языку, одной территории или группе религий. Можно опознать в археологических материалах четкое объединение, различающееся материальной культурой и назвать это этнической группой, но реальный тип социальных уз и характер субъективных чувств, которые такое объединение отражают, остаются неизвестными. Эту задачу можно было бы решить, только исследуя живущие коммуны, но даже этноархеологические обзоры не выявляют четкий имидж этих отношений. Различия этнических групп могут проявляться на основе диалектов, религии, некоторых категорий материальной культуры. Более того, народы различного этнического сознания живут вместе на той же территории и даже в одних и тех же деревнях. В то же время недавние этнические движения в Центральной и Восточной Европе неожиданно показали, как может быть сильно чувство этничности и ненависти к чужим.

Несмотря на предостережения и напоминания археологической науке об ее ограниченных возможностях при изучении этнических групп, авторы считают, и с ними нельзя не согласиться, что этничность – реальный феномен и потому должен изучаться археологией. Необходимо более интенсивное исследование всех факторов определения этнического сознания и всех факторов, обуславливающих вариации в материальной культуре. Поскольку этничность – это динамический феномен, наиболее вероятно, что этот набор факторов варьирует во времени, но в рамках определенного исторического контекста. Развитие такого диалектического подхода, который был бы способен объединить различные показатели этничности, остается главной задачей археологических исследований (Olsen, Kobyliński, 1991, p. 22–23).

Политическая обстановка 1990-х гг. сказалась и на исследователях древней истории. Некоторые из них, наиболее яростно выступающие против идеологии (политики) в археологии, использовали

этот переломный период для возбуждения националистических (или патриотических) настроений. Не секрет, что в тех странах, где поднимается национальный вопрос, возникают напряженные ситуации. Ярким примером является полемическая статья П. Лиги (ФА. XI) «Активные славяне» и «пассивные финны». Цель статьи, по его собственному признанию, – обратить внимание на идеологическое злоупотребление парадигмы крупной славянской колонизации на Северо-Западе Руси и указать на присущую методологическую слабость исследований. Эстонскую археологию он назвал «маленькой научной организацией в оккупированной стране»<sup>1</sup>. Он считает, что коллапс коммунистического режима в нашей стране не привел к переоценке этнических исследований в археологии. И объяснение этому он видит в комбинации ортодоксального марксизма и национализма. Он убежден, что каким бы ни было наше понимание «объективности» исследования, как бы мы ни придерживались «нейтральной» теории, все равно происхождение русских напрямую связано с идеологией и политикой. Как писал А. Смит (Smith, 1986, p. 191), «все национально-романтические мифологии являются эволюционными по форме и содержанию и, как правило, наука принуждается к услужению поэтических конструкций».

Также П. Лиги считает, что антропологическим материалам можно давать альтернативную интерпретацию, а не только объяснять славянской колонизацией. Более того, ссылаясь на авторитеты англо-американской школы (Renfrew, Shanks, Tilley) и повторяя их, он утверждает, что интерпретация письменных источников таит в себе тоже немало опасностей. Что касается погребальных обрядов, то П. Лиги считает, что они лишь косвенно отражают социальные взаимосвязи, а в XI–XIII вв. тем более не способны раскрыть их, потому что элита, видимо, уже крещеная, археологически была «невидимой». Материальную культуру, смену форм

---

<sup>1</sup> Это явные спекуляции на национальном вопросе. Мне довольно часто приходилось общаться с эстонскими коллегами, работать над археологическими коллекциями Эстонии, встречаться на международных конгрессах, семинарах и дискутировать, обмениваться литературой и т.д. Ничего похожего, о чем с большой обидой писал Лиги, я не наблюдала.

погребальной обрядности и т. д., являясь сторонником постпроцессуализма, он объясняет внутренним, социальным развитием общества, локальными социальными изменениями в нем.

Б. Триггер (Trigger, 1994, р. 100–103) при ответе на свой собственный вопрос – этничность: подходящее ли для археологии понятие? – считает, что для объяснения археологических материалов большое значение имеет физическая антропология. С исторической лингвистикой, которая теоретически реконструирует протоязыки, намного труднее сопоставлять археологические материалы, в то время как язык является важным аспектом этничности. Поэтому вряд ли археология может или должна браться решать вопросы этнической принадлежности, за исключением тех моментов времени и места, для которых имеется значительное количество исторических и лингвистических свидетельств. Это и не так уж важно в сравнении с результатами, которые археология достигает в изучении экологической, хозяйственной и социальной адаптации. Б. Триггер считает, что прав был А. М. Талльгрэн, поощрявший эстонскую археологию заниматься функциональным исследованием предыстории, а не этническими процессами.

Б. Триггер пишет: «Центральным в культурно-историческом подходе было убеждение, что есть возможность узнать "народы" или "этнические группы" в археологическом материале. В начале XX в. американские антропологи Э. Сапир (E. Sapir) и Ф. Боас (F. Boas), изучая культурную индейскую историю Северной Америки, пришли к заключению, что она базируется на таких ошибочных понятиях, как расовые, культурные и лингвистические различия народов, которые являются результатом одного процесса дифференциации. Это означает, что некий вид сходства между двумя группами говорит о том, что обе они происходят от общего предка. Э. Сапир и Ф. Боас утверждали, что, напротив, расу, язык и культуру следует трактовать как самостоятельные переменные и их истории изучать независимо друг от друга. Поскольку культурные черты могли быть позаимствованы друг от друга, схожие культуры становились общими для народов, которые существенно различались по лингвистическим и физическим характеристикам. Поэтому последние (лингвистические и физические. – С. К.)

не применимы для реконструкции культурной истории, так же, как и культурные критерии не должны быть использованы для реконструкции истории языков и физических типов, ассоциируемых с отдельными группами. В качестве примера приводится недавняя история Европы. Романские языки произошли от латыни, но только небольшое число говорящих на романских языках происходит от граждан древнего Рима. Тот факт, что большинство наций современной Европы говорит на родственных языках, не дает объяснения, почему они обладают одинаковой культурой. Многие из культурного сходства не являются наследием далекого прошлого, оно результат совместного опыта, диффузии в недавнее время. Европейцы, которые не говорят на индоевропейских языках, такие как баски, венгры, финны, принимали участие в этом процессе не меньше, чем другие европейцы (Trigger, 1968, p. 7–12).

Проблемами этноса озабочены и исследователи Финляндии. Под руководством С. Сухонена был организован симпозиум, состоявшийся в октябре 1997 г. на научном стационаре Университета Хельсинки в Ламми. Материалы опубликованы в 1999 г. в томе «По тропам Севера. Корни финнов в свете современных исследований», который включил 37 докладов и комментариев к ним.

Ю.-П. Таавитсайнен попытался ответить на вопрос, прозвучавший в дискуссии: при изменении культуры меняется ли этнос? В каких случаях речь можно вести о диффузии, а когда об иммиграции? Ясной картины в процессе дискуссии не сложилось. Археологическая культура, утверждает Ю.-П. Таавитсайнен, это не то же самое, что генетическая совокупность. Как установить корреляцию этнического и материального? Что же может служить этническими маркерами? Определить их сложно, поскольку археологические культуры не были статичными, с одной стороны, а с другой – они были мультиэтничными, а сами маркеры непостоянными. Он привел пример с распространением китайского фарфора в Швеции в 1700-х гг., которое, естественно, не привело к господству китайцев и китайского языка. Он согласен с тем, что теоретически этнические маркеры есть, а на практике выявить их почти невозможно (Taavitsainen, 1999, p. 353–358).

Для традиционного направления этноисторических исследований характерна мысль, что народы определяет их язык. В результате современные прибалтийские финны всегда рассматривались как говорившие на финно-угорском языке, соответственно германцы, балты и славяне – на индоевропейских языках. К. Вийк подвергает сомнению эти взгляды. По его мнению, народ не может определяться по его языку, как ранее представлялось; народы могли изменять свой язык настолько, что те, кого мы сегодня называем прибалтийскими финнами и саамами, прежде говорили на нефинно-угорских языках, тогда как современные германцы, балты и славяне могли говорить на неевропейских языках в предшествующие тысячелетия. Видимо, смена языка была более обычным явлением, чем принято думать. Не следует ли определять народы более по их генетическим и расовым чертам, чем по их языку? (Wiik, 1998, p. 5–6).

Исследователи обращают внимание на удивительные таланты к изучению иностранных языков людей, живущих в приграничной зоне. Этнические группы объединяют своих членов даже в ситуации исчезновения используемого языка. Поэтому К. Ренфрю и П. М. Долуханов предположили, что индоевропейский протоязык был оригинальным видом *lingua franca*, который появился в процессе неолитизации и последующей консолидации (Olsen, Kobyliński, 1991, p. 15–16).

В Финляндии к проблеме происхождения финнов привлекли генетические исследования. Вопросы, которые ставились перед генетиками, заключались в следующем: откуда финны появились в Финляндии, каково их происхождение и каковы гены у современных финнов?

Выяснилось, что гены у финнов в основном такие же, что и у других европейцев, хотя и с восточным компонентом, что на 90% финны европейцы, а на 10% – уральцы. Уже более 30 лет тому назад в Финляндии были начаты исследования по группам крови (O. Streng, E. Mustakallio, H. Nevanlinna). В первую очередь эти исследования объясняли структуру финского населения, а во вторую – его корни. У Х. Неванлинна получилось, что у финнов  $\frac{3}{4}$  европейских генов и  $\frac{1}{4}$  восточных (частично сибирских). В

финляндской биоантропологии были сделаны крупные успехи в исследовании генетического материала человека: ДНК ядра клетки, митохондрии и Y-хромосомы. Было установлено, что финны по своим генам не отличаются от европейцев, но более четко отличаются от саамов. Интересные наблюдения были опубликованы в 1997 г. большой группой исследователей – в Y-хромосоме представлены C/T переходы, которые в Восточной Сибири прослежены у 86% якутов и у 58% бурят, они присутствуют у более половины исследованных финнов-мужчин, а также почти во всей Балтии, но не южнее. Р. Норрио пишет (R. Norio, 1999, s. 297–306): «Хочется верить, что это свидетельствует о древних трансуральских связях в направлении запад – восток». Между тем он полагает, что ответить на вопрос о прародине финнов на современном этапе развития науки генетика не в состоянии. Сведения о генах наших языковых родственников скудны. Мало что дает для выяснения финских корней и исследование традиционных финских заболеваний. От какого населения современные люди получили свои гены? Эти обстоятельства зависят от большого числа исторических случайностей, но в том, что финское родовое дерево это не сосна с одним главным корнем, но ель, которая опирается на многие идущие в разные стороны корни, исследователь не сомневается.

В комментарии по поводу статьи Р. Норрио (A. Chapelle, 1999, s. 307–310) говорится о генетических мутациях, которые, правда, еще пока находятся на начальной стадии исследования, но при дальнейшей разработке методов могут дать хорошие результаты при изучении корней финского народа. Анализ линейности, основанный на митохондриальном и Y-хромосомном полиморфизме ДНК, является мощным инструментом детального анализа генетической истории человека. Но пока использована только часть познавательных возможностей этого подхода, и торопиться с гипотезами не следует. Итак, при всех допущениях и оговорках, что археология имеет ограниченные возможности в интерпретациях этноисторического характера, которые во многом зависимы от субъективных и объективных обстоятельств, Б. Триггер (Trigger, 1986, p. 1–20) считает, что археология играет свою роль в достижении более рационального понимания человечества.

На мой взгляд, привлечение данных языкознания, топонимики, антропологии, естественнонаучных дисциплин и письменных источников на современном этапе исследования не вызывает сомнений. Поскольку каждая из наук развивается по своим законам и имеет свои методы исследования, располагает собственным арсеналом средств для исторических реконструкций, необходимо теоретико-методологическое обоснование привлечения разнородных, а иногда и противоречивых свидетельств. Оно необходимо и при выявлении устойчивых комбинаций этнических элементов, с помощью которых можно было бы определить конкретные этносы и которые, надо помнить, каждый сам по себе не постоянен во времени и пространстве. Теоретико-методологическое обоснование, по определению, должно минимизировать субъективность исследователей, скорректировать их спорные и некритичные суждения. Это касается и применения естественнонаучных методов в археологических исследованиях.

В последние десятилетия в археологических исследованиях по обе стороны границы стали успешно использоваться данные естественнонаучных дисциплин. Палеоэкологи Университета Йёнсуу осуществили спорово-пыльцевые анализы на ряде водоемов приладожской Карелии: в районе Сортавалы, Куркиеки, Хийтолы, на Валааме, Карельском перешейке, которые показали наличие земледелия в I тыс. н. э. К сожалению, эти данные находятся в противоречии с археологическими материалами, т. е. признаки земледелия имеются, а следы обитания человека отсутствуют. Так, например, в образце почвы Хийтолы – Кильполансаари обнаружена сельскохозяйственная пыльца возрастом в 200–400 лет (Taavitsainen et al., 1994, p. 29–39; Simola, 2003, s. 103–104), однако синхронных археологических находок в Хийтоле нет.

Анализ пыльцы из Кирьявалампи, расположенной в 2 км от знаменитой могилы Сортавала – Нукутталаhti VI в., указал на существование земледелия уже в 600 г. (Grönlund et al., 1997, p. 393; Simola, 2003, s. 106–107), но поселения этого времени здесь отсутствуют. Согласно пыльцевому анализу из Валкъярви – Охалампи (оз. Узорное), на этой территории лес был расчищен около 600-х гг., с начала 700-х гг. имеются признаки земледелия (Simola,

2003, s. 104–106), однако надо иметь в виду, что в окрестностях Охалампи, откуда до Саккола в направлении восток – северо-восток 20 км, нет ни древностей железного века, ни случайных находок. Отдаленность Охалампи от южного берега Суванто слишком большая, поэтому думать, что его пыльца свидетельствует об использовании земли в Лапинлахти бездоказательно (Karjalan synty, 2003, s. 312).

Исследование пыльцы показывает также слабое присутствие людей и следы земледелия в период 400–800-х гг. на территории Куркиеки – Кууппала. По пыльце, взятой из Пиени Кауппаланлампи (Pieni Kauppalanlampi), поблизости от комплекса археологических памятников, начало земледелия датируется 600-ми гг. (Miettinen et al., 2002; Simola, 2003, s. 100–101), что тоже противоречит времени появления памятников в этом районе.

На архипелаге Валаам на Нийккананлампи (Niikkananlampi) палеоэкологические результаты в период 500 до н. э. – 0 зафиксировали следы человеческой деятельности и пастбище, существовавшее по крайней мере в течение 800-х гг. (Vuorela, Saarnisto, 1997, p. 150; Vuorela et al., 2001, p. 135–165). Следы земледелия на Валааме отмечены около 650-х гг., а в 800-х гг. оно, как предполагают, распространилось и на другие части острова (Simola, 2003, s. 107, 110).

Итак, следы земледелия во второй половине – конце I тыс. н. э. в северо-западном Приладожье и на Карельском перешейке немногочисленны и отрывочны. К тому же разрыв в датировках, полученных в результате палеоэкологических и археологических исследований, заставляет критически отнестись как к гуманитарным, так и к естественнонаучным выводам.

Таким образом, этносы представляют собой устойчивые комбинации различных элементов, по которым один этнос отличается от другого. Им присущи нестираемые различия и самобытность. И хотя путь фиксации и описания «этнических признаков» признан бесперспективным, поскольку при акценте на признаки ускользает сущность явлений, тем не менее надо стремиться выявить эти элементы на археологическом материале. Каким образом? По моему мнению, основой исследования являются прежде всего

типология и классификация всех видов археологического материала (формальный анализ), в результате которых определяются датировка, общие и частные, специфические черты круга памятников (содержательный анализ). Иными словами, типично археологическими методами попытаться выделить адаптационные элементы, элементы, приобретенные в процессе торгово-культурных контактов, и собственные традиционные особенности на конкретном историко-культурном фоне.

Следующий этап – реализация комплексного, междисциплинарного исследования с привлечением итоговых результатов смежных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Думаю, что не следует отказываться и от ретроспективного метода этноисторических исследований – от известного народа к неизвестному, хотя у метода, конечно, есть свои недостатки. Поскольку этносы реконструируются на археологическом материале, который чаще всего представлен ограниченным кругом памятников, неизбежно использование принципа дополнительности.

Приведу конкретный пример. При рассуждении об этнической принадлежности курганов Приладожья встал вопрос об археологических критериях опознания древнескандинавских женских погребений по наличию в них комплекта из трех фибул: двух овальных, застегивающих лямки длинного безрукавного одеяния, и третьей, скрепляющей накидку или шаль. Так как накидки или шали могло и не быть, считалось, что по наличию двух фибул признавать скандинавским погребение в ареале финно-угорского населения нельзя. При таком подходе из списка скандинавских непременно окажутся вычеркнутыми действительно скандинавские погребения. Следовательно, истинность этого критерия не абсолютна. Применение его требует дополнительных общеисторических рассуждений и доводов «здравого смысла», хотя выводы, сделанные в соответствии с логикой современного человека, далеко не безукоризненные. Конечно же, погребальный обряд менее подвержен изменениям и более надежен при определении этноса. Вместе с тем характерный для скандинавов обряд – кремация с помещением останков в курган – явление чрезвычайно распространенное в эпоху

раннего Средневековья, а в условиях Приладожья использование этого признака неэффективно, поскольку местное население именно у скандинавов восприняло курганный обряд погребения. Сейчас доказано, что среди прибалтийско-финского населения Приладожья присутствовало скандинавское население, но атрибуция погребений скандинавов спорна, поскольку они соединяют в себе черты обоих этносов, а какие из них первичные, какие вторичные, сказать трудно. По всей вероятности, финско-скандинавские взаимоотношения складывались на тех же, что и славяно-скандинавские, принципах культурной инфильтрации.

Следующий уровень этнокультурного исследования – это привлечение данных языкознания, топонимики для определения этноса, оставившего курганы Приладожья, и, к сожалению, скромные антропологические материалы. Этнографические материалы, на мой взгляд, слишком общи. Они применимы для характеристики более широкого круга, нежели юго-восточное Приладожье, прибалтийско-финского населения.

Что касается исследования этнической истории древних карел, то круг источников здесь шире и глубже по содержанию, что позволило создать в общих чертах непротиворечивую этнокультурную картину.

## **Некоторые спорные аспекты этнокультурной истории древних карел**

### ***О происхождении племени корела***

Этот вопрос долгое время оставался дискуссионным. Существовало несколько точек зрения на происхождение племен, объединенных этнонимом *корела*<sup>2</sup>. Представителями гуманитарных наук проделана обстоятельная и кропотливая работа. Отклонены и представляют лишь библиографический интерес теории лингвистов и

---

<sup>2</sup> Здесь автор не касается вопроса о заселении Приладожья в эпоху каменного века безымянными охотниками и рыбаками. О заселении этих территорий еще в мезолите общеизвестно. Речь идет о древних карелах, упомянутых в письменных источниках в начале II тыс. н.э.

историков XIX в., согласно которым карелы первоначально обитали в районе Белого моря, в сказочной Биармии, где якобы составляли большую часть Биармийского государства, которое в X в. пережило кризис, ослабело и распалось. Значительная часть населения Биармии продвинулась к западу от Северной Двины и Белого моря, к Онежскому и Ладожскому озерам, к Финскому заливу (подробнее см.: Кочкуркина, 1982, с. 7).

В начале XX в. в финляндской литературе получают распространение теории западнофинского происхождения карел, согласно которым карелы – прямые потомки западнофинского племени хяме (емь по русским источникам), обитавшего на Карельском перешейке в I тыс. н. э. Под сомнение брались этническая самостоятельность, язык народа, карельское происхождение эпоса «Калевала». Формированию таких точек зрения способствовали и объективные обстоятельства, прежде всего отсутствие археологических материалов I тыс. н. э. В последующие десятилетия исследователи, не удовлетворенные такими выводами, главное внимание стали уделять археологическим данным. Некоторые археологи (А. М. Талльгрэн, А. Европеус, К. А. Нордман) считали мнение о переселении карельских племен с запада на восток необоснованным. Так, К. А. Нордман полагал, что карелы, как и их культура, сформировались в результате смешения восточных и западных элементов. Он считал, что культура населения Карельского перешейка уже в I тыс. н. э. отличалась от западнофинской и не согласился с бытующими среди финляндских исследователей представлениями о том, что походы викингов явились причиной подъема и расцвета карельской культуры, и убедительно показал, что как раз прекращение походов викингов способствовало подъему Карельской земли в XII–XIV вв. Он признавал влияние Новгорода на карел прогрессивным (Nordman, 1924, s. 182–196).

Гипотеза о заселении Карельского перешейка с востока сформулирована в 1930-е гг. крупнейшим российским археологом В. И. Равдоникасом под влиянием большого ценного материала, полученного при раскопках курганов Олонецкого перешейка. Исследователь придерживался традиционной точки зрения о карелах

как довольно поздно сформировавшемся этническом образовании. Поскольку материальная культура Карельского перешейка IX–X вв. близка культуре центральной и западной Финляндии, рассуждал он, то эти территории имели одно и то же население – емь. В. И. Равдоникас полагал, что корела до конца XI в. жила в восточном Приладожье, а затем в конце XI–XII в. заселила северо-западное Приладожье, где ей пришлось столкнуться с емью и какое-то время сосуществовать с нею (Равдоникас, 1930а; 1934, с. 6–7, 25; 1940, с. 11).

Между тем археологические материалы противоречат предположению В. И. Равдоникаса. Население, оставившее курганы, не могло принимать участие в формировании корелы, хотя наличие контактов корелы и веси отрицать нельзя (Кочкуркина, 1975, с. 303–305).

В предвоенные и послевоенные годы крупнейшим финно-угроведом Д. В. Бубрихом разработана концепция происхождения и этнического развития народа в XII–XVII вв., базирующаяся на огромном лингвистическом материале, собранном на территории расселения карел. По мнению исследователя, до возникновения Древнерусского государства Карельский перешеек был слабо заселен, здесь кочевали редкие саамские родоплеменные группы. С образованием Древнерусского государства на этой территории в тесном взаимодействии с Русью начала формироваться корела. Откуда она пришла, Д. В. Бубрих не смог дать убедительного ответа. Он считал, что частично население пришло из земель еми, часть – из мест, близких к Чудскому озеру и Новгороду. Допускается участие и древней веси (Бубрих, 1947, 1971).

Итак, по мнению Д. В. Бубриха, корела сформировалась на Карельском перешейке, но различные, пришедшие извне компоненты изменили ее – в IX в. она называлась «кирьяла» и, видимо, ее первоначальный состав был иным (см.: Кочкуркина, 1982, с. 10, сн. 4).

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе древних карел рассматривают как качественно новое формирование,

возникшее на базе местного, западнофинского<sup>3</sup> и пришедшего из юго-восточного Приладожья населения. Расхождения наблюдаются в том, какая из составляющих преобладала. Одни полагают, что на формирование корелы оказали воздействие в первую очередь западная Финляндия, Готланд и Новгород; другие признают тесную связь населения Карельского перешейка и юго-восточного Приладожья. Так, по мнению финляндского историка Х. Киркинена, археологические, лингвистические и исторические данные не позволяют считать корелу емского происхождения. Он считает, что племя корела формировалось одновременно с Новгородским государством в результате смешения чудских, западнофинских, вепсских, а может быть, и варяжских компонентов (Kirkinen, 1963, s. 31, 35). Все эти обстоятельства свидетельствуют о большой древности этнической общности корела и позволяют утверждать: племя корела сформировалось на Карельском перешейке в I тыс. н. э., и основу его составило прибалтийско-финское население.

За истекшие десятки лет археологический материал I тыс. н. э., который смог бы существенно пополнить источниковую базу и внести ясность в вопрос о происхождении древних карел, практически не увеличился. По-прежнему исследователи оперируют давно известными случайными единичными находками каменных орудий, наконечников копий, топоров, предметами украшений, отдельными могилами, в которых умершие погребены по обряду трупосожжения. До сих пор непонятно, откуда и по каким причинам западнофинское население переместилось на Карельский перешеек. Материалы добыты в конце XIX – начале XX в. и лишены

---

<sup>3</sup> Говоря о заселении Карельского перешейка с запада, в качестве доказательства приводят могильник Саккола – Лапинлахти, в котором погребены, как показал последний не совсем точный остеологический анализ, 4–8 мужчин и 1–2 женщины (Karjalan syntu, 2003, s. 309). Еще в 1982 г. я писала: «Этническая атрибуция погребального инвентаря могильника Лапинлахти позволяет признать мнение финляндских исследователей о западнофинской принадлежности могильника в целом справедливым. Ничтожно малое количество погребений нельзя расценивать как следствие значительной переселенческой волны из западной Финляндии в районы Карельского перешейка» (Кочуркина, 1982, с. 18). Удивляют восторги некоторых рецензентов на книгу Karjalan syntu по поводу того, что наконец-то признали переселение из западной Финляндии на берега Ладоги (Suhonen, 2004, s. 52).

необходимой информации относительно формы и размера могильников, деталях погребального обряда и т. д., что допускает порой вольные авторские интерпретации (Saksa, 1998, s. 192–196; Karjalan synty, 2003, s. 311–312).

### *О языке и диалектах*

Установлено, что карелы, как и другие прибалтийские финны (эстонцы, ливы, воль, ижора, финны и вепсы), образуют западную ветвь финно-угорских народов. Лингвисты считают, что некогда существовал общий язык-основа, так называемый пракарельский язык, от него произошли и ижорский язык и восточнофинские диалекты финского языка. По их мнению, карельские наречия – собственно карельское, ливвиковское, людиковское – возникли в результате сложных этнических процессов у населения Карельского и Олонецкого перешейков в начале II тыс. н. э. (Баранцев, 1976). Происхождение, формирование и развитие собственно карельского наречия тесно связано с летописным племенем корела, проживавшим в I–II тыс. н. э. на северо-западных берегах Ладожского озера, однако исследователи пришли к неутешительному выводу, согласно которому вопрос о происхождении карельского языка и его диалектах не может считаться окончательно решенным.

Предполагается, что древнекарельский и древневепсский диалекты развились на основе, названной Т. Итконеном «itäkantasuomi» – восточный диалект прибалтийско-финского праязыка язык-основа (Itkonen, 1984, s. 355–359), позднюю стадию которой П. Саммаллахти обозначил как «laatokkalainen kanta-kieli» – ладожский праязык (Sammallahti, 1977, s. 119–135). Явно находясь под влиянием археологических находок западнофинского происхождения на Карельском перешейке, Ю. Лескинен заключил, что в Ладожской округе, по крайней мере начиная с середины I тыс., проживал, по-видимому, относительно единый прибалтийско-финский народ с древнекарельской разговорной культурой. Его языковое единство могло возникнуть тогда, когда коренное население и пришедшие на западное побережье Ладоги западные финны сплелись друг с другом. Язык ладожской Карелии

не оставался без изменений. Торговые и культурные связи, расширение территории и многие другие обстоятельства приводили к различным языковым инновациям (Leskinen, 2003, s. 448).

Не все исследователи согласны с такой трактовкой. Есть сомневающиеся как в существовании «ладожского праязыка», так и в общности древнекарельских и древневепских диалектов. Т. Салминен полагает, что основные древнекарельские говоры в районе Финского залива назывались «*suomenlahden Karjala*», а в Ладожской округе – «*laatokkalainen Karjala*» (Salminen, 1998, s. 399–402).

По современной классификации в северном и западном Приладожье были распространены юго-восточные диалекты: собственно юго-восточные (центральная часть Карельского перешейка), инкери-диалект (территория Ижорского плато), переходные говоры (районы Лаппе и Сортавалы) (Leskinen, 1999, s. 364, k. 2).

### *Топонимика*

Важная роль в изучении истории карел принадлежит топонимике – науке о географических названиях. Топонимические названия помогают выяснить территорию расселения народа, пути его передвижения, важные вехи этнической истории и особенности хозяйственной деятельности в течение нескольких тысячелетий. Карельская топонимия давно стала объектом исследования финляндских специалистов. Плодотворную работу по сбору названий в северо-западном Приладожье осуществил В. Ниссиля. На основе огромной коллекции карельских топонимов (325000 единиц), хранящихся в Топонимическом архиве Финляндии, им создан обобщающий труд (Nissilä, 1975).

Названия рек, озер, возвышенностей, урочищ, болот и т. д. в северо-западном Приладожье – финско-карельские. Они составляют фундамент, главный топонимический пласт. Наиболее древние – саамские топонимы. Именно саамы дали названия многим важным природным объектам. По отношению к ним топонимы славянского происхождения более поздние, но довольно часты в ландшафте Карельского перешейка, поскольку славянское влияние проникло во все сферы хозяйственной и культурной деятельности древних карел, особенно тех, которые жили в центральной части

Карельского перешейка, т. е. в местах, близких к культурным центрам того времени. К древнейшим славянским заимствованиям, по мнению В. Ниссиля (Nissilä, 1975; Мамонтова, Кочуркина, 1982) относятся *lotja* (лодья), *majakka* (маяк), *raja* (край), *risti* (крест), *sirppi* (серп), *veräjä* (дверь). Встречаются названия, отражающие природные особенности местности, растительный и животный мир: *korkka* (горка); *lompa* (ломка, каменная ломка); *luosa*, *luoso*, *lyösä*, *lyösö* (лужа); *pukro*, *pukru* (бугор, бугра); *polentka* (поле); *poljana* (поляна); *pesku*, *peska* (песок); *guba* (губа, залив); *rosliva*, *rosleva* (разлив) и т. д. В топонимии представлены названия, обозначающие места поселений: *pogosta* (погост), *lopotti* (слобода), *korotiisa* (городище), *possada* (посад), *rintka* (рынок).

Встречаются немногочисленные римско-католические, нижненемецкие и скандинавские наименования природных объектов, говорящие о сложных и разнообразных взаимоотношениях народов.

В карельской топонимии сохранилась информация о передвижении населения с запада на восток в период железного века в виде таких названий, как *Tyrisevä – Helisevä*, *Hiisi*, *Tunturinvuori*, *Näme* (Vahtola, 1980, s. 96–101, 1999, k. 5; *Karjalan synty*, 2003, s. 379).

В. Ниссиля полагает, что шведскими мореходами и рыбаками даны названия островкам, скальным выступам, отмелям, мысам, заливам в акватории Финского залива от Сяккиярви (район Выборга) до Терийоки. Позднее они вошли в обиход финского населения и получили финскую фонетику (например: *helli*, швед. *häll* 'плита'; *holma*, *holmi*, швед. *holme* 'островок' – 6 пунктов). Такие названия, как *Tamma-Karjala*, *Кобылицкая корела* русских летописей (1338 г.), по мнению исследователя, происходят от шведского аппелятива *tam* 'прирученный' (готланд. *tamhäst*, *tamruss*). На Карельском перешейке в погосте Рауту зафиксированы три деревни с таким наименованием. Древнескандинавскими названиями являются *Viiipuri*, швед. *Viborg* (древнешвед. *Vi* 'святой', *borg* 'древняя крепость', *Björkö* (березняк, березовая роща), имеющее фризские корни, *Vatnuori*, *Vatikivi* (сканд. *vattu* 'вода', *nor* 'узкий залив', финское *kivi* 'камень'), *Kivennapa* (сканд. *kivo näb* 'бревенчатое укрепление')

и т. д. Ниссиля предполагает, что от скандинавского имени *Dir* (*Dyri, Diuri, Tiuri, Turi*) происходят довольно часто встречающиеся на Карельском перешейке названия деревень, островов, порогов, мысов: *Tiuri, Tiurinniemi, Tiurinsaari, Tiurula, Tiurinkoski, Tiurinlinna* и др. В том же ареале встречены *Torisar, Torisari, Terinsari*, в основе которых – искаженное переписчиком скандинавское *Thore*.

После сооружения Выборга шведское влияние отразилось во многих направлениях. Собственные шведские имена дали основу фамилиям: *Torkel-Torkkeli, Sune-Suni, Hakon-Haakana, Halvard-Halvarinen, Ivar-Iivari*, которые распространились на широком пространстве северо-западного Приладожья, как и фамилия *Ränti* (швед. *Frände*). В топонимической номенклатуре окрестностей Выборга отмечено шведское *svenske*, финское подражание *vänskä*. В городах Карельского перешейка со второй половины 1500-х гг. часты названия профессий и сословий шведского происхождения, которым писцы придали финское звучание (например: *kiiveri*<*gestgivare* 'хозяин постоянного двора'; *leikari*<*lekare* 'музыкант'). Выявлены слова, отражающие физические особенности человека, не имеющие соответствия в финском: *Döffue* (глухой), *Lille* (маленький), *Lütti* (небольшой).

В целом же скандинавские наименования, за редким исключением, представлены в названиях отдельных домов, поселений, небольших объектов, а также фамилий и поэтому не могут считаться первичными. Скандинавы появились в северо-западном Приладожье тогда, когда оно уже было заселено прибалтийско-финским населением. Увеличение шведских наименований и их территориальное расширение связаны с известными историческими событиями XIII–XVII вв.

В результате ономастических (собственные имена) исследований удалось выявить на территории Финляндии устойчивый пласт карельских топонимов, свидетельствующих о пребывании здесь древних карел. Названия мест, образованных от этнонимов, чаще всего возникают в пограничной полосе, где проживают совместно представители различных племен и народностей. Так, в северо-западном Приладожье выделяются топонимы, в основе которых

лежат этнические названия: *vepsä* (вепсы); *karjala* (корела)<sup>4</sup>. Помимо *vepsä* и *karjala* встречаются этнонимы *lappi* (лопь, саамы); *tsuud*, *tshna* (чудь, чухна); *häme* (емь, хяме); *savo* (саво); *inkeri* (ижора); *viro*, *eesti* (эстонцы). Наиболее древние из них возникли в те далекие времена, когда добыча пушнины влекла людей различной этнической принадлежности в отдаленные лесные районы. Топонимы с *суомен* и *ви́ро* встречаются в основном в южной части северо-западного Приладожья, а топонимы с *лапин* редки на Карельском перешейке, но севернее они попадаются часто (Мамонтова, Кочкуркина, 1982). Концентрация из нескольких десятков топонимов с основой *вепс-* (гидронимы, названия урочищ, болот, деревень и т. д.; материалы топонимического архива Финляндии) обнаружена в северной части Карельского перешейка в приграничье с Финляндией (Муллонен, 1994, с. 134)<sup>5</sup>.

О пестроте этнического состава населения на Карельском перешейке (этот факт в свое время способствовал формированию различных точек зрения на этническую принадлежность археологических памятников Карельского перешейка и на происхождение древнекарельской общности) можно судить по сведениям из земельной книги Яаски (1543 г.), в которой упоминаются фамилии, связанные с именем племени, народа и местности: *Яаскеляйнен*, *Хямеляйнен*, *Карьялайнен*, *Кюмяляйнен*, *Лавветеляйнен*, *Лаппалайнен*, *Саволайнен*, *Суомалайнен*, *Вепсяляйнен*, *Виронен*, *Виролойнен* (Мамонтова, Кочкуркина, 1982).

---

<sup>4</sup> Наличие этнонима *karjala* на древнекарельской этнической территории – явление удивительное. Он мог возникнуть в том случае, если карелы проживали среди иноэтничного окружения, которое и назвало их соответствующим именем. Так, например, в районе Куолемаярви карелы оказались в соседстве с *лаппи* и *ви́ру*, в Вуоксенранта – с *лаппи*, *вепся*, *хяме* и т. д.).

<sup>5</sup> В. Лааксо в рецензии на книгу *Karjalan synty* (Laakso, 2004a) пишет, что вопрос об упомянутых в писцовых книгах Водской пятины названиях *ves*, встречающихся на западном побережье Ладоги, и которые как будто бы должны свидетельствовать о воздействии вепского населения, спорен. За термином *ves*, по его мнению, стоят ошибки в переводе работы Ронимуса (Ronimus) 1906 г., поэтому они не являются основанием для утверждения о вепском влиянии.

### *О территории летописной корелы*

Историки, археологи, лингвисты и фольклористы считают, что в XII–XIV вв. Карельский перешеек с северо-западными берегами Ладожского озера до северо-восточных берегов Финского залива с городом Корела являлся древнекарельским племенным центром. Этот вывод хорошо согласуется с топонимическими данными. Древнерусские летописи, берестяные грамоты довольно четко определяют территориальные границы народа корелы.

Спорным остается вопрос о включении Миккельских озер (юго-восточная Финляндия, район Саво) в древнекарельский ареал. По установившемуся мнению, могильники Миккели (Каускила, Висулахти, Тууккала) представляют собой ответвление ладожско-карельской культуры (Nordman, 1924, s. 191–196; Tallgren, 1931, s. 192; Kivikoski, 1961, s. 271–272). Позднее под влиянием результатов раскопок новых более древних могильников (Кююккюля, Мойсио), в которых умершие были погребены по обряду трупосожжения, по своему строению напоминавших могилы западной Финляндии, было сделано заключение: культура Миккели является сплавом культур хяме и карел (Åugärää, 1939, s. 51–62).

Со своей стороны хочу отметить, что даже если эти памятники действительно западнофинские, присутствие их в районе Миккели вовсе не отрицает наличия другого населения. В ранние времена не существовало строгих территориальных границ. Взаимные контакты в различных сферах, смешанные браки (не исключено, что именно таким образом появились древнекарельские женские погребения в иноэтничных могильниках) обычно приводили к появлению гибридной культуры. Примеров тому не счесть. Археологические источники I тыс. н. э. на территории, заселенной прибалтийско-финским населением, не только редки, за исключением памятников веси на р. Суде и древностей погостов «в Чуди», но и материальное выражение их весьма сходно. Более того, у древних карел начало II тыс. н. э. характеризуется появлением новых типов украшений, не связанных с более древними памятниками. Факт этот довольно типичен и для ближайших соседей карел – эстов и ливов, и для населения обширных регионов Севера Европы

указанного времени. Различие в их материальной культуре объясняется этническим развитием общества, но в первую очередь разным в сравнении с I тыс. н. э. социально-экономическим уровнем.

В финляндской научной литературе отчетливо стала проявляться тенденция объяснять близость памятников Карельского перешейка и юго-восточной Финляндии не этническим родством, а культурными заимствованиями. Если до 1970 г. исследователи в основном искали сходство между могильниками, то затем внимание стало акцентироваться на различиях. Проведя сравнительный анализ археологического материала, сопоставив реконструированную одежду обоих регионов, П.-Л. Лехтосало-Хиландер пришла к выводу, что жителями Саво были не древние карелы, а хяме, попавшие под влияние карельской культуры (Lehtosalo-Hilander, 1973, s. 15–32).

Вопрос о взаимоотношениях двух культур носит принципиальный характер. Решение его имеет существенное значение для выяснения ареала древних карел. Это заставляет вновь обратиться к сравнительному исследованию погребальных памятников Карельского перешейка и района Миккели, датирующихся XII–XV вв., с намерением выявить комплекс общих черт и различий по важным, характеризующим этнос показателям. По материалам хорошо изученных могильников северо-западного Приладожья, этническая принадлежность которых не вызывает сомнений, выделено 11 признаков погребального обряда и сопровождающего инвентаря. Совокупность и частота встречаемости этих признаков в финляндских памятниках, вероятно, поможет решить вопрос об их этнокультурной принадлежности.

Первый признак – ориентировка покойных. В могильниках Карельского перешейка, как и в могильниках Миккели, нет устойчивого однообразия. Довольно редка четкая ориентация – чаще встречаются отклонения в ту или другую сторону. В могильнике Суотниemi три труположения ориентированы на север, северо-восток, северо-восток – восток (ориентировка одного неизвестна); в Кулхамяки шесть погребений (ориентировка трех не установлена) – на север; в Леппясенмяки из четырех погребенных один

уложен головой на юго-восток; в Саккола – Патья из 19 погребений девять ориентированы на запад, 10 – на юго-запад; в Ховинсаари 12 – на север, 3 – на запад, по одному на юг и восток.

В могильниках Финляндии, в Каускила, из пяти погребений только у двух, имеющих сопровождающий инвентарь, известна ориентировка – на запад<sup>6</sup>. В могильнике Тууккала 36 погребений составляют следующие группы: на запад – 13 захоронений; на юго-запад и запад – юго-запад – 12; на север с отклонением к западу и востоку – 9; на восток – 2. Из 24 погребений Висулахти на запад ориентировано 7, на север – столько же, на юг – 8, ориентировка двух не установлена.

Графически соотношение ориентировки погребенных выглядит следующим образом: могильник Тууккала имеет четыре сочетания с Ховинсаари, три – с Висулахти, два – с Патья, по одному – с остальными древнекарельскими могильниками. Висулахти и Ховинсаари объединены тремя проявлениями одного показателя, в то время как древнекарельские могильники Суотниemi и Кулхамяки – одним, а Суотниemi и Леппясенмяки вообще не связаны по этому признаку. Следовательно, общие рассуждения о том, что могильники Саво и Карельского перешейка различаются по ориентировке, неверны. Можно лишь говорить о преобладании той или иной ориентации в каждом могильнике, помня при этом, что ее разнообразие находится в прямой зависимости от количества раскопанных могил и археологической изученности территории в целом.

Любопытное объяснение варьированию ориентировки покойных дано С. Пяльси. Он полагает, что при погребении умерших использовалась не астрономическая ориентация, а языческая роза ветров, повернутая на  $\frac{1}{8}$  круга к западу от астрономической. По этой причине север был на северо-западе, юг – на юго-востоке и юго-западе (Pälsi, 1938, s. 30). Отклонения в ориентировке покойных, конечно,

---

<sup>6</sup> Раскопки могильника Каускила были возобновлены в 1997, 1999–2002 гг. (Laakso, 2004, p. 56–60). Всего в Каппелинмяки исследовано 79 погребений по обряду трупоположения, большинство из которых относятся к периоду христианства. Материалов, которые бы уверенно указывали на связи с территорией древней Карелии, нет.

вызывались и сезонными условиями, но главным образом – традициями: этническими и религиозными.

Второй характерный для могильников корелы признак – наличие деревянных могильных сооружений, бересты, соломы, зольных и углистых прослоек, каменных настилов на могилах. Сразу же оговоримся, что срубные сооружения встречаются не во всех могильниках Карельского перешейка, что же касается погребальных памятников Миккели, то сведения о них скудны, поэтому детальное сопоставление тех и других чрезвычайно затруднено. Вот почему второй признак, по которому проводится сравнительный анализ, является более обобщенным – наличие деревянных могильных сооружений без учета их детальных характеристик.

Выяснено, что по данному показателю близки могильники Висулахти, Ховинсаари, Суотниemi и Кулхамьяки; для второй группы, в которую вошли могильники Миккели, Патья, Леппясенмяки, Каускила, он нехарактерен. Типичные древнекарельские деревянные сооружения на памятниках Саво встречаются редко.

Сопоставление по погребальным обрядам можно продолжить упоминанием могил с трупосожжением, которые в небольшом количестве сопутствуют трупоположениям. В могильниках Тууккала и Кююхкюля их шесть, в Висулахти и Мойсио – пять, в Суотниemi – одна, в Ховинсаари – тоже одна (вторая с частичным сожжением). В Патья, Кулхамьяки и Каускила трупосожжений нет.

Существенные различия в погребальных обрядах проявляются в другом. В могилах Карельского перешейка присутствовали глиняные и деревянные сосуды либо их части, медные котлы, зубы и кости коровы, лошади, свиньи, птиц, кости и чешуя рыб, сельскохозяйственный инвентарь. В могильниках Саво этого нет, в чем видно упрощение, деградирование погребальных обрядов, отход от начальных представлений о жилище мертвых как о жилище живых; это, на наш взгляд, свидетельствует о некотором изменении в мировоззрении жителей области Саво, вызванном иными влияниями.

Наиболее яркая корреляция между могильниками обеих территорий проявляется по набору женских нагрудных украшений, включающих две овально-выпуклые фибулы, Ф-образные пронизки, цепедержатели и соединительные цепочки. В могильнике

Кекомаки в 50% женских погребений отмечен полный комплект украшений. Но в одном детском захоронении отсутствовали Ф-образные пронизки. Вместо них использованы металлические бусы. В Ховинсаари 33,3% женских захоронений сопровождалась нагрудными украшениями в полном составе, в пяти плохо сохранившихся не было некоторых предметов; погребенная в могиле 6 Ф-образных пронизок вообще не имела. В могильниках Карельского перешейка, таких как Суотниemi, Леппясенмяки, Патья, слишком мало женских погребений, чтобы с большой степенью достоверности установить корреляцию. В 66,6% женских захоронений могильника Тууккала зафиксирован полный набор украшений, в остальных – неполный. Что примечательно, в последних нет Ф-образных пронизок, их заменяют бусы. С одной стороны, этот факт можно объяснить плохой сохранностью могил, а с другой – в замене изделий видна определенная закономерность, прослеженная и в могильниках корелы. На наш взгляд, приемлемо следующее объяснение. Известно, что некоторые древнекарельские предметы изготовлялись в Новгороде с расчетом на определенного покупателя. Население Миккельских озер в связи с напряженной военной обстановкой и событиями 1323 г. не имело тесных контактов ни с древнерусскими территориями, ни с Корельской землей, поэтому женщины вынуждены были заменять недостающие детали чем-то другим, в частности металлическими бусами. К примеру, на городище Паасо, на территории летописной корелы, где найдено большое число женских украшений, не обнаружено ни одной Ф-образной пронизки, в то время как металлических бус собрано немало.

В могильнике Висулахти 44,4% женских захоронений содержали полный комплект нагрудных украшений. Остальные аналогичные погребения повреждены. Два женских трупоположения вообще не имели характерных украшений. В Каускила из трех женских захоронений два разрушены и лишены ювелирных изделий. В могильнике Мойсио в двух из четырех женских трупосожжений находились древнекарельские вещи. По могильнику Кююхкюля статистические подсчеты невозможны, так как известно лишь одно женское погребение (в нем из интересующих нас предметов были овально-выпуклая фибула и обломок цепедержателя).

В свете сравнительной характеристики могильников северо-западного Приладожья и юго-восточной Финляндии любопытен еще один факт. В памятниках юго-восточной Финляндии мало спиралевидных цепедержателей, в то время как у населения ее юго-западных территорий они получили широкое распространение. Если согласиться с утверждением некоторых финляндских ученых о заселении района Миккели из западной Финляндии, то следовало бы ожидать частую встречаемость спиралевидных держателей цепей в памятниках Саво, однако этого не произошло. В Корельской земле, напротив, спиралевидные цепедержатели получили дальнейшее развитие, выразившееся в появлении усложненного варианта. Более того, возник новый тип – ажурные цепедержатели, ареал которых охватил северо-западные берега Ладоги и Саво.

Тесные связи двух древнекарельских массивов прослежены и на овально-выпуклых фибулах, например фибулы С1/1а и С1/1в широко распространились и в Финляндии, и в Карелии, поэтому определить место их возникновения трудно. Поздние изделия типа С2, а также типов С3 и D, напротив, имеют ограниченные ареалы: группа С2/3 концентрируется на западных берегах Ладоги, как и фибулы типа С3, которые Э. Линтури считает чисто карельскими. Поздние группы типов С2/1 и С2/2 сосредоточены в Миккели и северо-западном Приладожье в районе Хийтола – Куркиеки, что, по мнению исследователя, указывает на тесные связи обеих территорий, а возможно, и на миграцию населения (Линтури, 1984). Исследуя фибулы с орнаментом в виде плетенки (типы F1–F4), Л. Томантеря пришла к выводу, что при изготовлении фибул F1 использовался один и тот же образец, от которого произошли все последующие, различия же между ними объясняются индивидуальностью литейщиков. Согласно «родословной» фибул F1, изделия, найденные в Каукола, Кякисалми и Турку, берут начало от одного образца. Фибулы типов F2–F4 в Финляндии неизвестны. Из 11 выделенных П.-Л. Лехтосало-Хиландер (Lehtosalo-Hilander, 1966) серий типа Н в Миккели известны три серии фибул, каких нет в Карелии и Хяме, в то время как в Карелии имеется три таких серии, которых нет в Миккели. Остальные являются общими для обеих территорий. Л. Томантеря отметила, что в украшениях Карелии

и Миккели в сравнении с другими фибулами много изготовленных по копиям и чертежам, которые указывают на серии. Отливщики фибул передвигались с места на место по мере поступления заказов (Tomanterä, 1994, s. 35–50).

Суммируя все сведения, можно сказать, что могильники Карельского перешейка и Финляндии хорошо коррелируются и по третьему признаку, т. е. для всех женских погребений, за малым исключением, характерны овально-выпуклые фибулы, Ф-образные пронизки или металлические бусы вместо них, цепедержатели и соединительные цепочки.

При сопоставлении памятников обеих территорий по четвертому признаку – наличию медных спиралек, которые являлись характерной чертой женской одежды корелы (в мужских погребениях они редки), выяснилось, что таких погребений мало.

Корреляция памятников по следующим пяти признакам (наличие ножей с орнаментированными рукоятями и ножен, круглых выпуклых брошей или их заменителей, подковообразных выпуклых фибул карельского типа, подковообразных пластинчатых с растительным орнаментом, копоушек, шейных лент), характерным для женских погребений, выявила устойчивую связь. Различаются памятники Карельского перешейка и юго-восточной Финляндии лишь количественным преобладанием в них тех или иных вещей. Трудно объяснить отсутствие в финляндских памятниках подковообразных выпуклых фибул карельского типа. Если причина заключается в хронологическом отличии, то уловить его на археологическом материале пока не удалось. Создается впечатление, что женщины области Саво пластинчатых подковообразных фибул почти не носили (присутствуют в двух захоронениях могильника Тууккала). В действительности это не так: в разрушенных погребениях могильника Тууккала собрано пять пластинчатых фибул. За счет подъемного материала таким же образом возрастает в нем процентное содержание копоушек. Следовательно, по составу вещей могильник Тууккала близок погребениям Карельского перешейка, особенно при сопоставлении комплекта специфических женских украшений.

Между тем противники этой точки зрения обращают внимание на различия, заключающиеся в ином способе крепления спиралек к ткани верхней одежды, несходстве типов фибул, застеживающих накидку у того и другого населения, отсутствии у женщин Миккели серебряных головных застежек (сюкере). Сходные черты объясняются культурным заимствованием. С этим трудно согласиться по причине различного методологического подхода к выяснению этноса, его ведущих, выделенных на археологическом материале показателей. Перечисленные отклонения – частные, они не изменили этнокультурного колорита населения. Действительно, головные застежки не являются общим для всех древнекарельских могильников признаком. Только 6 экз. из 11 (с учетом деталей от изделий) найдены в женских захоронениях (остальные происходят из кладов и разрушенных могильников). Что касается различных способов крепления спиралек к одежде у того и другого населения, то, по мнению специалиста в этой области П.-Л. Лехтосало-Хиландер (Lehtosalo-Hilandes, 1980, s. 256), украшение женской одежды спиральками представляло собой общеевропейскую моду, распространению которой не препятствовали ни языковые, ни племенные барьеры. Вместе с тем различные народы по-своему использовали ее, поскольку женский костюм развивался на основе этнических традиций.

Инвентарь мужских погребений юго-восточной Финляндии значительно беднее, чем на Карельском перешейке, – отсутствуют предметы вооружения, в том числе мечи, поясные и ременные украшения. Тем не менее нельзя считать, что древнекарельскими были только женские погребения. Этому противоречит то обстоятельство, что погребальные обряды в мужских могилах не отличаются от деталей захоронения в женских.

Выявленный комплекс общих черт позволяет заключить, что близость памятников не следует объяснять только культурным заимствованием. Речь может идти о едином этническом регионе. Имеющиеся различия не противоречат этому выводу. Они естественны, поскольку этничность, о чем подробно говорилось в первом разделе, – это весьма изменчивый феномен, подверженный как внутренним, так и внешним изменениям. Найти точную копию

материальной культуры могильников Карельского перешейка в юго-восточной Финляндии, при всей их схожести, – нерешаемая задача, тем более даже в одном и том же могильнике наблюдается вариативность как в погребальных обрядах, так и в сопровождающих вещах. Выше уже говорилось об интенсивности этнического самосознания и различий в материальной культуре в периоды экономических и политических кризисов, войн, что и произошло с древними карелами в XII–XV вв.

По материалам могильника Тууккала более сотни лет назад был осуществлен анализ костного материала. И хотя исследования не были проведены в полной мере (не изучались черепа), удалось выявить, что умершие мужчины были либо высокими (у шести мужчин из 19 рост колебался от 179 до 190 см), либо низкими (трое достигали 160 см). Рост самой крупной женщины – 179 см, средних – 157 см. Оказалось, низкорослые умершие сопровождалась карельскими предметами, а высокорослые – западнофинскими. Что касается женщин, то использование ими древнекарельских украшений от роста не зависело (Lehtosalo-Hilander, 1988, s. 219–220).

Естественно, возникает вопрос: по какой причине некая группа (или группы) древнекарельского населения решила переселиться в район Миккельских озер? Некоторые считают, что в Карелии не было избытка населения и не было недостатка в хорошей земле, поэтому переселение в Миккели, где занятие земледелием встретило бы известные трудности, не обосновано (Saksa, 1998, s. 169–172; Taavitsainen, 1990, s. 113). Нельзя забывать и о том, что карелы пользовались разветвленной торговой сетью, охватывающей не только внутренние районы, но и западные и северные земли. Охотничьи маршруты, транзитная торговля через систему озер Сайма, а также по сухопутным дорогам влекли в Саво новых жителей из Карелии (Pirinen, 1988, s. 285; Lehtosalo-Hilander, 1988, s. 220–221; 1994, s. 31–32). О пребывании древних карел на далеких территориях говорят предметы, топонимические данные, письменные источники, предания (Кочкуркина, 1982, с. 35–36, 165–167). Здесь мы имеем дело с третьей ситуацией по Барту (см. выше), когда

группы занимают различные ниши, обслуживают друг друга и взаимозависимы, что создает различные варианты контактов, в том числе и торговых.

В настоящее время исследователи остановились, на мой взгляд, на взвешенной, компромиссной точке зрения, признающей не только древнекарельское влияние на культуру Саво, но и присутствие на этой территории самих древних карел (Taavitsainen, 1990, s. 105–107, 113; Lehtinen, 1994, s. 62–64; Uino, 1997, s. 172–174, 2003, s. 441–443; Saksa, 1998, s. 167–172).

Историко-культурные свидетельства, без сомнения, говорят не только о схожести культур Саво и приладожской Карелии, объясняемой культурными заимствованиями, но и о едином этническом регионе, однако территориальная удаленность, другое окружение, политические акции (Ореховецкий договор) привели к изоляции населения Саво, попавшего под власть Швеции. Населению Саво и приладожской Карелии свойственны общие черты материальной культуры. Занимая промежуточное положение между землями корелы с востока и землями хяме с запада, население Саво испытывало влияние с обеих сторон, тем не менее культура Саво оставалась самобытной, о чем свидетельствуют и археологические материалы. Длительное время она сохраняла первоначальные черты и традиции, но постепенно начала отличаться от культуры Карельского перешейка, а впоследствии и культуры русской Карелии. Усиление потока переселенцев из западной Финляндии в южную часть Карельского перешейка в конце XIII в. способствовало распространению западных традиций, восточная граница которых большей частью соответствовала государственной границе по Ореховецкому договору.

Сказанное вовсе не означает, что район Миккельских озер был заселен только карелами. Безусловно, здесь проживали и хяме, и в результате этнических взаимовлияний выработалась своя оригинальная и самобытная культура (Кочкуркина, 1982, с. 57–75, 2004, с. 102–104).

Вывод о «карельскости» культуры Саво находит поддержку и в лингвистических материалах. «Есть все основания верить, – считает Х. Лескинен, – что население, переместившееся в Саво, было типично карельским и разговаривало на типично карельском языке».

Этому не противоречат некоторые заимствования из языка хяме, прослеженные на западном участке ареала диалекта саво, который по своему основному строению, подчеркивает Лескинен, нужно считать продолжателем языка древней карелы (Лескинен, 1976, с. 139–148). Позднее он убедительно показал, что в восточных диалектах саво имеется карельский субстрат (Leskinen H., 1987, s. 77–95). Ю. Лескинен полагает, что в окрестностях Миккели древнее Саво являлось первым западным дочерним поселением Ладожского побережья древней Карелии, хотя на этой территории проживали и древние охотники-промысловики, хяме и древние карелы. Несмотря на то что в диалекте саво заметна западная доля, основа языка все-таки древнекарельская. Западные черты не настолько заметны в языке, чтобы считать диалект саво результатом равномерного смешения диалектов хяме и древнекарельского (Leskinen J., 2003, s. 448–449). С этим заключением согласен и К. Пиринен, считающий, что у населения южного Саво есть четкие архаичные, указывающие на ладожскую Карелию корни, хотя в говорах Карельского перешейка в процессе развития они не сохранились. Он отметил в топонимии Миккели большую концентрацию названий с *Karjala*. Фамилию *Karjalainen* в самой древней переписи Саво носили 23 семьи; их больше, чем фамилий *Nämäläinen* и *Lappalainen*. Он полагает, что на прибывших из ладожской Карелии указывают названия с *versä*, а на прибывших из-за границы карел – *venäjä* (Pirinen, 1988, s. 272–289).

Концепции о переселении древних карел с северо-западных берегов Ладоги в район Миккельских озер придерживался В. Войонмаа и в качестве доказательства ссылался на топонимические сведения. В центральном Саво и в районе г. Сортавалы существуют общие топонимы. В земельной книге Саво (1562 г.) упоминается с десяток имен, связанных с г. Сортавалой, поэтому, утверждал Войонмаа, вполне вероятно, что до 1323 г. произошло переселение с побережья Ладоги, из районов Куркиеки и Сортавалы в Саво (Voionmaa, 1915, s. 35). Есть свидетельства о заселении берегов Миккельских озер с Карельского перешейка, из области Яаски. Безлюдную территорию между Яаски и Саво жители Яаски использовали под подсеку. В поземельной книге Саво (1561 г.)

упоминаются фамилии выходцев из Суур-Яаски. В Сяркилахти известна группа названий, обязанная своим происхождением Яаски. Еще больше их в налоговой книге 1571 г.

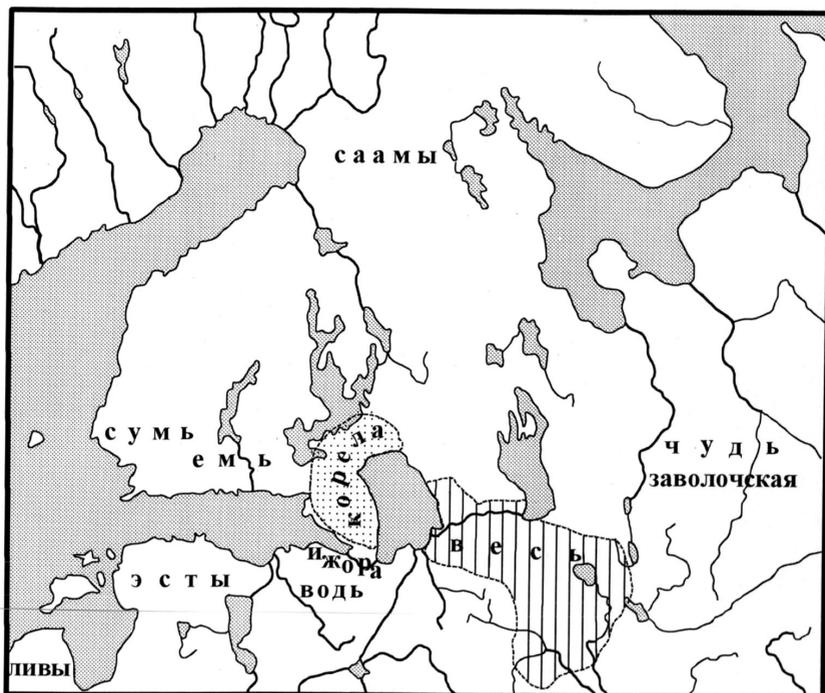
Некоторые фамилии, которые в Суур-Яаски выступали как наименования деревень, существовали в Саво, кроме того, зафиксировано около 900 названий Яаски. На обеих территориях есть целая группа топонимов с одним корнем (Ylönen, 1957, s. 156–160). Недвусмысленные сведения на этот счет дает Ореховецкий мирный договор, в котором названы три новгородских погоста, отданных Швеции: Яасис, Эвряпя и Саволак. Не случайно, видимо, в земельной книге Саво 1561 г. (под № 420) среди земель уезда Висулахти упоминается *Cariala Huatamaa*\* (карельское место погребений). Аналогичные сведения содержатся в журнале земельного раздела 1664 г. (№ 243), что дало основание М. Вестерхолму признать карел ранними жителями западных уголков Саймы (Westerholm, 1930, s. 33–40).

Вопросам взаимоотношения древних жителей Саво и Карельского перешейка посвятил свою работу Н. Валонен. Сопоставив этнографический и лингвистический материалы, он пришел к убедительным выводам, согласно которым населению Саво и приладожской Карелии были свойственны общие черты материальной культуры (Valonen, 1974, s. 444–475; подробнее см.: Кочкуркина, 1982, с. 71–73).

Кроме саво-карельской группы, известны и другие. О «пяти родах корельских детей» – рокульцы, вальдолыцы, каргольцы, тиврульцы, вымольцы – упоминают письменные источники. По мнению Д. В. Бубриха (1947), к XII в. сформировались следующие группы корелы: привыборгская, присайменская, приботнийская, корела в центральной части Карельского перешейка и ижора. Все они испытывали этнические влияния, одни в большей мере, другие в меньшей, у одних преобладали западные элементы, у других – восточные. Именно эти обстоятельства привели к различию в материальной культуре. О «немецкой» городецкой (т. е. привыборгской), семидесятской и кобылицкой кореле сообщают летописи.

---

\* Так в документе.



### Финно-угорское население северо-запада Восточной Европы

Определенные затруднения вызывала локализация семидесятской корелы. Одни исследователи считали, что речь идет о саволакской кореле и городе Нишлоте (Гиппинг, 1909, с. 148, прим. 107), другие – о приботнийской кореле и городе Оулу (Егоров, 1930; Julku, 1968). В Новгородской четвертой летописи (с. 205) под 1375/76 г. записано: «Того же лета постави Корела Семидесятская Новьи городок», а через два года, в 1377/78 г., в Новгородской первой летописи младшего извода (с. 374) сообщается, что ходили из Новгорода «люди молодые на Окиан море на Тивролу военным отрядом... Стояли на реке Овле под Новым городком...». Следовательно, летописные сообщения говорят в пользу второго предположения, согласно которому семидесятская корела это приботнийская корела с городским центром Оулу.

Что касается места проживания кобылицкой корелы, упомянутой в летописи под 1338 г., то, скорее всего, оно находилось на территории нынешнего Токсовского района Ленинградской области. Именно в границах этого района переписная книга Водской пятины довольно часто упоминает деревни «на Кобылицах». Не исключено, однако, что кобылицкая корела обитала на территории Саво (см.: Кочуркина, 1982, с. 74–75).

Таким образом, в эпоху Средневековья летописная корела проживала в северо-западном Приладожье с центром в Корельском городке, в юго-восточной Финляндии и северной Приботнии, отдельные древнекарельские семьи – видимо, и в Хяме, и на Ижорском плато. Северо-западное Приладожье, будучи подвластным Новгороду, в значительной мере отличалось от локальных, заселенных корелой районов, разделенных большими пространствами, связи между которыми постепенно ослабевали. Решительная ломка этнических отношений произошла после заключения новгородско-шведского договора в 1323 г., насильно разделившего единое до того времени этническое образование – корелу.

### *Древние карелы и славяне: этнокультурные аспекты взаимосвязей*

В полемической статье «Активные славяне» и «пассивные финны» (см. выше) П. Лиги вел речь об идеологическом злоупотреблении парадигмы крупной славянской колонизации на Северо-Западе Руси. Какой же суммой фактов на сегодняшний день располагают исследователи различных специальностей, анализируя взаимоотношения летописной корелы и новгородских словен?

О взаимоотношениях древних карел и славян, присутствии славян на территории древних карел, отразившихся в богатой топонимии, говорилось выше. Первые связи с древнерусскими территориями, отмеченные редкими археологическими находками (калачевидная серьга, ромбоцитковое височное кольцо, орнаментированные пластинчатые подвески, сердоликовые бусы и некоторые типы стеклянных, шумящие подвески, бронзовые игольники в виде ножен и трубчатый игольник с ажурным овалом) датируются рубежом I–II тыс. Позднее прочные и крепнущие связи с Новгородом

обозначились прежде всего в появлении вещей, изготовленных в Новгороде. Некоторые типы украшений, глиняная посуда, вооружение, меднолитейное и железоделательное ремесла фиксируют прочные связи со славянским миром. Даже растительный орнамент, столь характерный для украшений населения Карельского перешейка, ставший его самобытной чертой, по-видимому, возник в Новгороде на базе сплава различных художественных стилей. Не исключено, что какая-то часть ювелирных украшений изготавливалась там по заказу корелы.

В XII–XV вв. северо-западное Приладожье, тесно связанное с судьбами Новгородского государства, испытало существенное воздействие древнерусского искусства и ремесел, способствовавшее экономическому и социально-политическому развитию края. Территория корелы выделялась собственным развитым железоделательным производством, базирующимся на местных запасах сырья. Производство отличалось высокой степенью сложности и не уступало в этом древнерусским городам, прежде всего Новгороду. Использовались те же технологические схемы: трехслойный пакет, вварка стальной полосы в рабочую часть клинка, наварка стального лезвия на железный клинок. Сравнение самой массовой категории кузнечного инвентаря – ножей – из древнекарельских поселений показывает тесную связь местной технологии с северорусской. В производстве ножей наиболее часто употреблялись технологические схемы, доминирующие на Севере Руси, прежде всего в Новгороде, в IX–XII вв., и главным образом прогрессивная сварная техника. В древнекарельской земле она продолжала использоваться и в XIII–XIV вв. Долгое сохранение этой технологии можно объяснить не только устойчивостью традиций в среде кузнецов, но и тем, что до северной периферии Новгородской земли еще не дошли экономические стимулы, заставлявшие работать на широкий рынок и неизбежно приводившие к экономии металла и упрощению технологии (Кочкуркина, 2000, с. 30). Древнекарельские кузнецы не только владели передовой технологией, но и изготавливали разнообразные инструменты, употребляемые для обработки дерева и ювелирных предметов, в сапожном, шорном и ткацком ремеслах, в сельском хозяйстве и промыслах, оружейном деле.

В результате успешного экономического развития Корельская земля заняла важное место в международной торговле и стала представлять реальную силу и во внутренней жизни Новгорода, и во внешней политике (Кочкуркина, 2004, с. 144–160).

\* \* \*

На протяжении I и в начале II тыс. в жизни древних карел произошли кардинальные социальные и политические изменения. Это выразилось в успешном экономическом развитии края, влиянии на внутреннюю и внешнюю политику Новгородского государства. Но при всех взаимовлияниях и культурных связях древние карелы сохранили этнические особенности, которые четко определяются и отличаются от приобретенных и заимствованных. Расселившись на большом пространстве за пределы этнической территории, карела вступала в контакты с соседями и в результате сложных многоэтапных процессов превращалась в обширную этническую общность. Намечается сближение разнородных этнических компонентов, из которых впоследствии сложился современный карельский народ.

При объединении русских земель и карельско-новгородских владений в составе Русского централизованного государства на бывших новгородских территориях создаются новые административные единицы – пятины, в которых сохранилось прежнее деление на погосты. Карельские земли входили в состав Корельского уезда Водской пятины. На исконной древнекарельской территории проживали в основном карелы – потомки летописной корелы. Шведская агрессия в конце XVI в. привела к опустошению края: после заключения Тявзинского мира в погостах Кирьяжском (Куркиеки), Сердобольском (Сортавала), Иломанском (Иломанси) и в Соломенском (Салми) имелось около 3000 пустых дворов и только 322 заселенных. Часть населения погибла, другая ушла в Россию (Очерки... 1957, с. 108). По Столбовскому миру 1617 г. Кексгольмский уезд, как и Ингерманландия, отошли к Швеции. Россия потеряла важную в политическом и экономическом отношении территорию, лишилась выхода к Балтийскому морю. На сто лет Корельский уезд оказался отрезанным от Русского государства.

Тысячи семей бежали в Россию, особенно после войны 1656–1661 гг., когда живших в Кексгольмском уезде карел начали насильно обращать в лютеранство.

*Работа выполнена по программе «Этнокультурное взаимодействие в Евразии» и гранту Российского гуманитарного фонда (проект №04-01-00049а).*